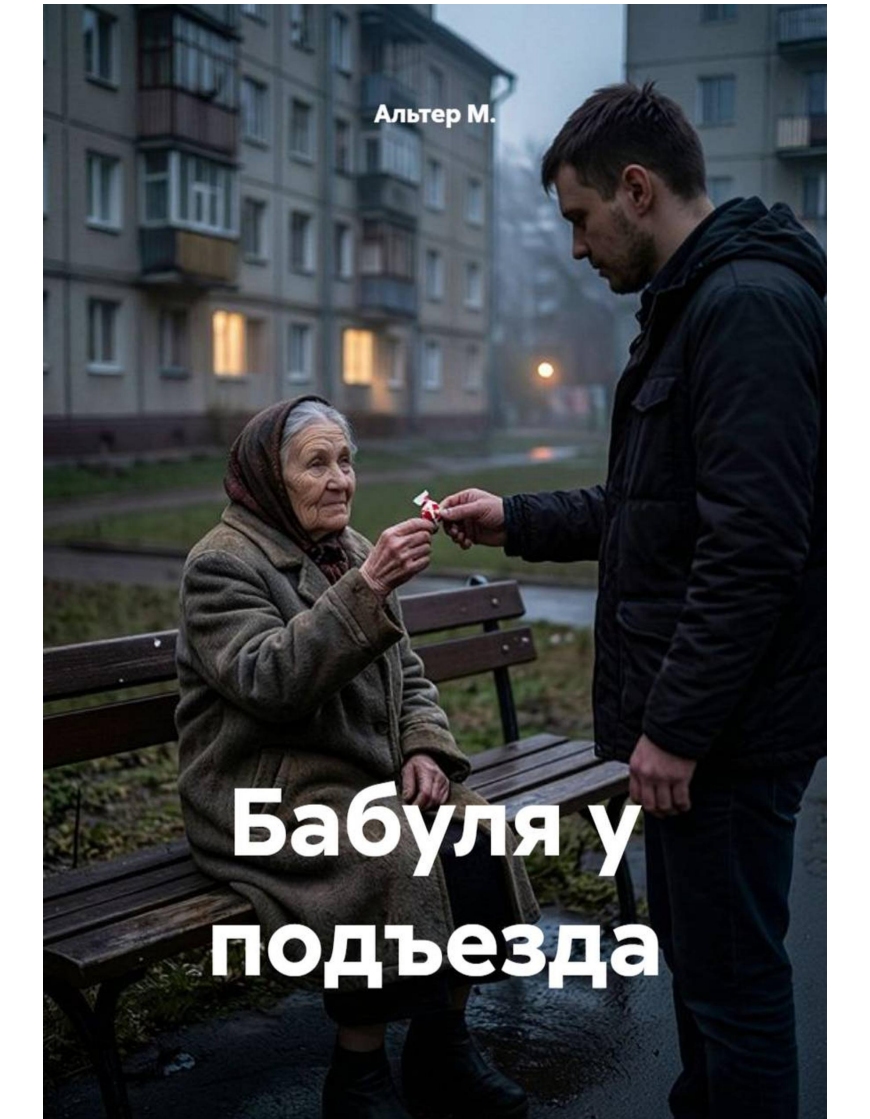




Альтер М.

Бабуля у подъезда

Альтер М. Бабуля у подъезда

<https://litres.ru/74660527>

SelfPub; 2026

Аннотация

На лавочке у третьего подъезда сидит бабушка. Она знает всё про всех и предлагает прохожим обменять их беды на конфетку. Люди смеются, берут конфеты, а наутро их жизнь становится идеальной — но кто-то из близких исчезает. Бабушка — древний дух места, собирающий человеческие судьбы вместо пенсии. Илья Воронов, обычный автослесарь, единственный, кто отказывается от конфет. Он вступает в борьбу с древним духом, чтобы защитить свой двор, свою семью и свою жизнь. Но чтобы победить, ему придётся стать новым хозяином места — и не потерять себя.

Содержание

Глава 1. Лавочка у третьего подъезда	4
Глава 2. Мясник	28
Глава 3. Новая лавочка	48
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Альтер М.

Бабуля у подъезда

Глава 1. Лавочка у третьего подъезда

Осень в этом году выдалась странная: тёплая, почти ласковая, но с каким-то подспудным холодом, который не чувствовался кожей, а пробирался глубже — в кости, в мысли, в сны. Двор дома номер семь по улице Полевой, длинного пятиэтажного здания с облупившейся розовой краской и тремя подъездами, казался особенно тихим по вечерам. Днём здесь ещё сновали дети с ранцами, женщины с сумками, мужчины с пакетами из магазина, а к семи часам всё стихало. Фонарь у второго подъезда мигал, как больной глаз, а у третьего горел ровно и ярко, выхватывая из темноты лавочку, стоящую прямо под клёном.

На этой лавочке каждый вечер сидела бабушка.

Никто не помнил, когда она появилась. Может, прошлой осенью, может, позапрошлой, а может, она была здесь всегда — просто раньше её не замечали. Она была маленькая, сухонькая, в тёмно-синем пальто с потертыми локтями и сером пуховом платке, повязанном поверх. Лицо у неё было

бледное, почти бумажное, с сеткой мелких морщин, и только глаза — светлые, как говорила соседка Вера Петровна, — смотрели цепко и внимательно. Она никогда не читала газет, не вязала, не смотрела в телефон. Просто сидела, сложив руки на коленях, и здоровалась с каждым, кто проходил мимо.

— Здравствуй, Илюшенька, — говорила она, когда Илья Воронов возвращался с работы. — Устал, поди?

Илья, высокий мужчина двадцати восьми лет, с коротко стриженными тёмными волосами и вечной щетиной, сначала удивлялся: откуда она знает его имя? Потом привык. В маленьком дворе все всех знали. Бабушка, наверное, просто наблюдательная. Он кивал, буркал что-то вежливое и шёл к своему подъезду — третьему, тому самому, у которого она сидела.

Её звали Прасковья Ильинична. Так она представилась однажды Вере Петровне, женщине из второго подъезда, которая любила поговорить. Вера Петровна потом рассказывала всем, что бабушка «из эвакуированных» или «из бывших учителей», но точно никто не знал. Документов она не показывала, в квартире её никто не видел, но и бездомной она не выглядела: пальто хоть и старое, но чистое, обувь крепкая, а в кармане всегда лежали конфеты.

Конфеты были особенные. В прозрачных фантиках с золотистым узором, похожим на спутанные нити. Никто не мог прочесть название: буквы на фантике расплывались, стоило приглядеться. Дети говорили, что это «волшебные конфеты».

ты», взрослые посмеивались. Прасковья Ильинична предлагала их просто так, но с одной странностью.

— Хочешь конфетку? — спрашивала она. — А ты мне свою беду отдай. Обменяемся.

Сначала это казалось шуткой. Бабушка старая, ей скучно, вот она и придумывает забавы. Люди смеялись, брали конфету, говорили: «Ну, забирайте мою беду, мне не жалко», — и шли дальше. Конфета была вкусной: мягкая карамель с мятной начинкой и лёгкой горчинкой, как будто в неё добавили полынь. А наутро начиналось странное.

Первой пропала собака у Кольки из первого подъезда. Мальчишка лет двенадцати, вечно с разбитыми коленками и вечным футбольным мячом под мышкой. Он взял конфету в пятницу, потому что бабушка сказала: «У тебя, Коленька, беда — двойка по математике. Давай мне её, а тебе конфетка». Колька засмеялся, взял. В субботу он проснулся с чувством небывалого облегчения. Двойка исчезла из электронного журнала — просто испарилась, как будто её никогда не было. Учительница на следующий день смотрела на него круглыми глазами и говорила, что он «всё сдал». Но дома не было собаки. Старого пса по кличке Бим, который спал у батареи и встречал Кольку у двери. Родители обзвонили всех, расклеили объявления, но пёс исчез. Колька плакал два дня, а потом как-то странно успокоился. Слишком быстро, как будто внутри у него что-то выключили.

Вера Петровна, женщина полная, с громким голосом и

вечным недовольством мужем, взяла конфету в понедельник. У неё была беда: муж пил. Не просто пил, а пил запойно, с криками, с битьём посуды, с ночными скандалами. Прасковья Ильинична выслушала её жалобы, покачала головой, протянула конфету в золотистом фантике и сказала:

— Отдай мне свою беду, Вера. А я тебе — сладенькое.

Вера Петровна фыркнула, но конфету взяла. Съела прямо на лавочке, даже фантик не выбросила — сунула в карман. Наутро муж не проснулся. Не умер — просто исчез. Кровать была заправлена, его тапочки стояли у двери, а самого его не было. Ни записки, ни звонка, ни следов. Вера Петровна сначала испугалась, вызвала полицию, потом вдруг замолчала, села на кухне и просидела так час. А когда вышла во двор, лицо у неё было спокойное, почти счастливое. Она улыбалась. Соседки спрашивали, что случилось, а она говорила:

— Всё хорошо. Теперь всё хорошо.

И действительно, всё стало хорошо. Вера Петровна сделала ремонт, купила новую мебель, устроилась на работу по-лучше. Только о муже больше не вспоминала. Как будто его никогда не было. Как будто она всю жизнь жила одна в своей квартире с розовыми обоями и геранью на подоконнике.

Илья тогда ещё не знал всех подробностей. Он просто замечал странности. Возвращаясь с работы, он видел, как люди подходят к лавочке, о чём-то говорят с бабушкой, берут конфеты и уходят. А потом во дворе что-то менялось. Не сразу, не явно, но менялось. У кого-то пропадал родственник, у

кого-то — друг, у кого-то — старая мать, жившая в другом городе. И каждый раз человек, взявший конфету, выглядел потом удивительно спокойным. Умиротворённым. Как будто с него сняли тяжёлый груз.

Сам Илья жил на четвёртом этаже третьего подъезда с матерью, женщиной нервной и заботливой. Она работала в регистратуре поликлиники, вечно уставала, вечно жаловалась на давление и на то, что сын не женится. Илья работал в автосервисе, чинил машины, приходил домой поздно, ужинал и садился за компьютер. Жизнь его была обычной, скучной, предсказуемой. Он не верил в мистику. В детстве бабушка рассказывала ему про домовых и леших, но он вырос и всё это забыл. А теперь каждый вечер видел старуху на лавочке и чувствовал смутное беспокойство.

Однажды в среду он возвращался домой позже обычного. Было около десяти, двор пустовал, только фонарь у третьего подъезда горел, и под ним, на лавочке, сидела Прасковья Ильинична. Она не спала. Она смотрела прямо на Илью, и в её светлых глазах отражался свет фонаря, как в двух маленьких зеркалах.

— Илюшенька, — позвала она. — Подойди-ка.

Илья остановился. Внутри что-то неприятно дёрнулось, но он не подал виду. Подошёл, сунул руки в карманы куртки.

— Здравствуйте, Прасковья Ильинична. Вы чего так поздно? Холодно уже.

— Да мне не холодно, — улынулась она. Улыбка у неё

была странная: губы растягивались, а глаза оставались серьёзными. — Мне с людьми поговорить охота. А ты вот идёшь, хмурый такой. Что, беда какая?

Илья хмыкнул.

— Да нет, всё нормально. Устал просто.

— Устал — это не беда, — сказала бабушка. — Усталость пройдёт. А беда — она в другом. Вон у тебя мать болеет. Давление. И работа не в радость. И один ты, как перст. Разве это не беда?

Илья напрягся. Про мать он никому во дворе не рассказывал. Про давление она сама могла кому-то сказать, но про «работу не в радость» и «один как перст»... Это было слишком точно.

— Вы откуда знаете? — спросил он резче, чем хотел.

Прасковья Ильинична не обиделась. Наоборот, лицо её стало мягче, почти материнским.

— Я много чего знаю, Илюшенька. Я тут давно сижу. Всё вижу. Всех помню. Хочешь, помогу? У меня и конфетка найдётся.

Она достала из кармана пальто конфету в золотистом фантике. В свете фонаря фантик блеснул, и Илье показалось, что узор на нём шевелится, как клубок змей.

— Обменяемся? — спросила бабушка. — Ты мне — свою беду, я тебе — конфетку. Сладкую, с мятой. Ты же любишь мятные.

Илья почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он

действительно любил мятные конфеты. Но об этом знала только мать. И ещё, может быть, продавщица в магазине, где он иногда покупал леденцы. Но не эта старуха.

— Спасибо, — сказал он. — Я как-нибудь сам.

— Сам, — повторила бабушка. — Сам-то оно, конечно, лучше. Только не всегда получается. Ты подумай, Илюшенька. Я не тороплю. Конфетка не портится.

Она убрала конфету обратно в карман и отвернулась, как будто потеряла к нему интерес. Илья постоял ещё секунду, потом быстро пошёл к подъезду. Поднимаясь по лестнице, он чувствовал, что она смотрит ему в спину. Дверь квартиры он открыл дрожащими руками.

Дома мать сидела на кухне с чашкой чая и смотрела телевизор. Она была бледная, под глазами залегли тёмные круги.

— Ты чего такой? — спросила она. — Случилось что?

— Нет, — соврал Илья. — Просто бабка эта странная у подъезда. Предлагала конфету.

Мать вздохнула.

— А, Прасковья Ильинична. Хорошая старушка. Одинокая, наверное. Ты бы не грубил ей.

— Она про твоё давление знает, — сказал Илья. — И про то, что я один.

Мать пожала плечами.

— Ну и что? Я ей сама говорила. Она во дворе со всеми разговаривает. Ты просто не замечаешь.

Илья не стал спорить. Но он точно помнил, что мать ни-

когда не сидела на лавочке у подъезда. Она всегда проходила мимо, здоровалась и шла домой. Когда она успела рассказать бабушке про давление? Может, и рассказала. Может, он просто не видел. Но осадок остался.

На следующий день во дворе появилось новое лицо. Молодая женщина по имени Оксана, снимавшая квартиру на втором этаже первого подъезда. У неё была маленькая дочка, лет пяти, и муж, который ушёл к другой. Оксана ходила по двору с заплаканными глазами, таскала тяжёлые сумки, ругалась с кем-то по телефону. Прасковья Ильинична подозвала её к лавочке, и они долго о чём-то говорили. Илья наблюдал из окна. Он видел, как Оксана сначала махала руками, потом села рядом с бабушкой, потом взяла конфету. Съела. Ушла домой.

Наутро Оксана вышла во двор с сияющими глазами. Она улыбалась, а рядом с ней шла девочка. Только девочка была не её дочкой. Это была племянница Оксаны, приехавшая из другого города. А сама дочка... Илья слышал потом от соседки, что девочка «уехала к отцу» и что Оксана «так решила, потому что ей тяжело». Но Оксана выглядела счастливой. Слишком счастливой. И её дочь больше никто не видел.

Илья начал вести записи. В блокноте, простом, в клеточку, он записывал даты, имена, что человек просил у бабушки и что потом исчезало. Он не знал, зачем это делает. Может быть, чтобы доказать самому себе, что это совпадения. Может быть, чтобы потом кому-то показать. Но записей стано-

вилось всё больше, и совпадений было слишком много.

В конце сентября во дворе появился новый жилец — мужчина лет сорока, по имени Сергей, с собакой, овчаркой по кличке Грей. Сергей был мрачный, неразговорчивый, но с собакой гулял каждый вечер. Прасковья Ильинична подозвала и его. Илья случайно оказался рядом, выносил мусор. Он слышал, как она сказала:

— У тебя, Серёженька, беда — жена ушла. И собака старая. Давай меняться?

Сергей усмехнулся.

— Бабушка, вы что, колдунья?

— Колдунья, — спокойно согласилась она. — А ты не смейся. Бери конфетку.

Он взял. Съел. А наутро Грей пропал. Сергей ходил по двору, свистел, звал, но собаки не было. А сам Сергей через неделю привёл в дом новую женщину. Молодую, красивую, без детей. И выглядел он так, будто с него сняли десять лет.

Илья понял: это не совпадения. Это закономерность.

Он попытался поговорить с матерью. Она выслушала, покачала головой и сказала:

— Илюша, тебе надо отдохнуть. Ты переутомился. Какие-то конфеты, исчезновения... Ты же взрослый мужчина. Не выдумывай.

Он попытался поговорить с Верой Петровной. Та посмотрела на него странным взглядом и сказала:

— Не лезь, Илья. Тебе что, плохо живётся? Не трогай ба-

бушку. Она добрая.

— Добрая? — не выдержал Илья. — А куда делся ваш муж?

Вера Петровна побледнела, потом покраснела, потом от-
вернулась.

— Нет у меня мужа. Никогда не было. И не было никакой
беды. Понял?

И ушла. Илья стоял во дворе, смотрел ей вслед и чувство-
вал, как земля уходит из-под ног.

В начале октября он решился. Вечером, когда стемнело,
он вышел во двор и подошёл к лавочке. Прасковья Ильинич-
на сидела на своём обычном месте, в тёмно-синем пальто, с
серым платком на голове. Она не удивилась. Наоборот, по-
смотрела на него так, будто ждала.

— Садись, Илюшенька, — сказала она. — Давно пора.

Илья сел. Лавочка была холодная, деревянная, с облупившейся краской. Он посмотрел на бабушку внимательно. Близко она казалась ещё старше: кожа как пергамент, на тыльной стороне ладони — тёмные пятна, в уголках глаз — желтоватые белки. Но глаза были ясные, без старческой мут-
ти. И в них что-то было. Что-то, от чего Илье захотелось
встать и уйти.

— Кто вы? — спросил он. — Только не говорите, что про-
сто бабушка.

Прасковья Ильинична улыбнулась. На этот раз улыбка бы-
ла другой: не мягкой, а хищной, как у кошки, которая видит

мышь.

— А ты догадливый, — сказала она. — Не то что остальные. Они думают: бабушка, старая, одинокая. Конфетки раздаёт. А ты вот записываешь. Я видела.

— Видели? — Илья похолодел. — Вы следите за мной?

— Я за всеми слежу, — спокойно ответила она. — Это мой двор. Я здесь давно. Очень давно. Меня тут не было, когда дом построили, но я пришла сразу, как первый камень в землю заложили. Я — место. Понимаешь? Не человек. Дух. Хранитель. Только хранить мне уже нечего, все давно разбежались, поумирали. Осталась одна лавочка. Вот я и сижу.

Илья сглотнул.

— И вы... собираете беды?

— Собираю, — кивнула она. — Люди сами отдают. Я не заставляю. Я предлагаю. А они берут. Думают, что это шутка. Или что им повезло. А я просто меняюсь. Их беда — мне, моя конфета — им. Только беда-то не исчезает. Она переходит. А вместе с ней — судьба. Человек, который взял конфету, отдаёт мне часть своей жизни. И часть жизни тех, кто рядом. Тех, кто ему дорог. Или не дорог. Кто первый под руку попадётся.

— Но зачем? — спросил Илья. — Зачем вам это?

— А как же, — Прасковья Ильинична развела руками. — Мне пенсию никто не платит. Я же не человек. А жить надо. Вот я и собираю. Чужие судьбы — мой хлеб. Чем больше соберу, тем дольше сижу. А сидеть мне нравится. Тепло.

Люди ходят. Разговаривают. Я всё слышу. Всё знаю. Это моя работа.

Она помолчала и добавила тише:

— Ты не думай, я не злая. Я просто старая. И голодная.

Илья смотрел на неё и не знал, что сказать. В голове было пусто. Он думал о Кольке, который потерял собаку, о Вере Петровне, забывшей мужа, об Оксане, чья дочь исчезла. Обо всех, кто брал конфеты.

— А если я откажусь? — спросил он.

— Откажешься — ничего не будет, — сказала бабушка.

— Я не насильничаю. Я предлагаю. Только ты уже не откажешься.

— Почему?

Она посмотрела на него долгим взглядом. В свете фонаря её глаза казались двумя провалами.

— Потому что у тебя беда, Илюшенька. Большая. Ты ещё не знаешь, какая. Но она уже идёт. И если ты не возьмёшь конфетку, будет плохо. Очень плохо. Не тебе — матери твоей. Ты же её любишь.

Илья вскочил.

— Вы угрожаете?

— Я предупреждаю, — спокойно сказала Прасковья Ильинична. — Сядь. Не дёргайся. Ты мне нравишься. Ты единственный, кто записывает. Мне это льстит. Я тебе даже конфетку не буду навязывать. Ты сам придёшь. Через неделю. Может, через две. Но придёшь.

Она достала из кармана конфету и положила её на лавочку между ними. Золотистый фантик блеснул в свете фонаря.

— Возьми, — сказала она. — Не ешь. Просто поддержи. Потом поймёшь.

Илья не взял. Он развернулся и пошёл к подъезду. Дома он долго сидел на кухне, пил чай и смотрел в окно. Лавочка была пуста. Бабушка ушла. Но конфета осталась. Она лежала на лавочке, маленькая, золотистая, и в темноте казалось, что она светится.

Наутро конфеты не было. Может, её взяли. Может, бабушка убрала. Илья не знал. Но он точно знал другое: он не должен брать конфеты. Ни при каких обстоятельствах. И он начал готовиться. Он не знал, к чему именно, но чувствовал: скоро всё изменится. И бабушка у подъезда — только начало.

Первое, что сделал Илья, — завёл отдельный блокнот, не тот, где были записи о конфетах, а новый, чистый, в твёрдой обложке. Он решил, что будет записывать всё, что видит, но не как раньше — урывками, а системно. Дата, время, кто подходил к лавочке, что говорил, брал ли конфету, что происходило потом. Он даже нарисовал план двора: три подъезда, клён, лавочка, фонарь, мусорные контейнеры за первым подъездом, детская площадка с покосившейся горкой. На плане лавочка была отмечена красным кружком, и от неё Илья провёл несколько линий — к подъездам, к площадке, к парковке. Он сам не знал, что означают эти линии, но ри-

совал их тщательно, как будто готовился к войне.

Мать заметила его состояние быстро. Она вообще замечала всё, что касалось сына, даже когда делала вид, что не замечает.

— Илюша, ты чего как потерянный ходишь? — спросила она в субботу утром, когда он сидел на кухне с блокнотом и перечитывал свои записи. — На работе проблемы?

— Нет, — сказал он. — Всё нормально.

— Нормально у него, — вздохнула мать. — Ты вон бледный какой. И глаза красные. Ты спал вообще?

Илья не спал. Последние три ночи он просыпался в половине четвёртого, как по будильнику, и лежал, глядя в потолок. В эти часы в квартире было особенно тихо, только холодильник на кухне гудел и где-то в стене капала вода. А ещё в эти часы ему казалось, что кто-то стоит под окнами. Он не вставал проверять. Боялся увидеть на лавочке знакомый силуэт в сером платке, поднявший голову к его окну. Один раз он всё-таки не выдержал, подошёл к окну и выглянул. Двор был пуст. Фонарь горел. Лавочка стояла пустая. Но на ней, на самом краю, лежала маленькая золотистая точка. Конфета. Илья отшатнулся от окна и задёрнул штору.

В воскресенье днём он пошёл к Кольке. Мальчишка сидел на детской площадке, качался на качелях, но не так, как обычно — не с гиканьем и разбегом, а медленно, отталкиваясь носками ботинок. Рядом с ним не было ни мяча, ни велосипеда, ни собаки. Илья присел на соседние качели.

— Привет, Коль. Как дела?

Колька посмотрел на него без интереса. Глаза у мальчишки были тусклые, как у старого человека.

— Нормально, — сказал он.

— А Бим как? Нашёлся?

Колька пожал плечами.

— Не-а. Папка говорит, что он, наверное, ушёл куда-нибудь. Собаки уходят, когда чувствуют, что скоро умрут. Только он не старый был. Ему ещё жить и жить.

Илья помолчал. Потом спросил осторожно:

— А конфету у бабушки ты когда брал? Ну, у Прасковьи Ильиничны?

Колька вдруг оживился. По его лицу прошла тень — не страх, а что-то похожее на растерянность.

— А откуда вы знаете? — спросил он. — Я никому не говорил. Даже маме.

— Бабушка сама сказала, — соврал Илья. — Она сказала, что ты двойку свою отдал. Это правда?

Колька кивнул. Потом нахмурился, как будто пытался вспомнить что-то важное, но не мог.

— Я не помню, как это было, — сказал он тихо. — Помню, что взял конфету. А потом... как отрезало. Утром встал — двойки нет. Я обрадовался. А потом Бим пропал. И я... — он запнулся, — я как-то быстро перестал плакать. Мама говорила, что я слишком спокойный. Что так не бывает. А я не мог плакать. Просто не мог, и всё.

Илья почувствовал, как у него холодеют пальцы. Он сжал качели.

— А сейчас? Сейчас ты можешь плакать?

Колька посмотрел на него с удивлением.

— Не знаю. Не пробовал.

Илья встал. Он хотел сказать мальчишке что-то важное, предупредить, чтобы тот больше никогда не брал у бабушки ничего, но понял, что это бесполезно. Колька уже не тот, что был раньше. Часть его ушла вместе с собакой. Или вместе с двойкой. Или вместе с конфетой.

После Кольки Илья пошёл к Вере Петровне. Она открыла дверь не сразу, а когда открыла — улыбнулась так широко, что Илье стало не по себе.

— Илюшенька! — воскликнула она. — Проходи, проходи. Чаю хочешь?

Он вошёл. Квартира Веры Петровны изменилась. Раньше здесь было тесно от вещей, ковров, статуэток, старых газет; пахло жареным луком и мужниными сигаретами. Теперь всё было по-другому: светлые обои, новый диван, никакого запаха. И тишина. Такая плотная, что уши закладывало.

— Вы одна живёте? — спросил Илья, хотя знал ответ.

— Одна, — весело сказала Вера Петровна. — Свобода! Ты представляешь, Илюша, какая это свобода? Никто не пьёт, никто не кричит, никто не требует ужина. Я теперь по утрам бегаю. Представляешь? В мои-то годы!

Она действительно выглядела лучше, чем раньше. Помо-

лодела, похудела, глаза блестели. Но что-то в ней было не так. Илья не сразу понял что. А потом понял: она говорила о себе, и только о себе. Ни разу не упомянула мужа. Ни разу не запнулась, не вздохнула. Как будто его не просто не стало — как будто его никогда не существовало.

— Вера Петровна, — сказал Илья осторожно, — а вы помните своего мужа?

Она поставила чашку, которую держала в руках, на стол. Улыбка осталась на месте, но глаза на секунду стали пустыми.

— Нет у меня мужа, — сказала она. — Никогда не было.

— Но вы с ним жили. Двадцать лет. Я его видел.

Вера Петровна наклонила голову, как будто прислушивалась к чему-то внутри себя.

— Странно, — сказала она наконец. — Ты говоришь «муж», а я не понимаю, о чём ты. Я знаю, что это слово значит. Но когда ты его произносишь, у меня в голове пусто. Как будто там была картинка, а её стёрли. Ты понимаешь?

Илья понимал. Слишком хорошо понимал.

Он ушёл от Веры Петровны с тяжёлым чувством. Во дворе он увидел Сергея, который гулял с новой женщиной — без собаки. Овчарки Грея не было. Сергей кивнул Илье, как старому знакомому, и сказал:

— Хорошая погода сегодня, да?

Илья кивнул в ответ. Он хотел спросить про собаку, но не стал. Знал, что услышит. «Какая собака? Никогда не было».

Вечером он снова вышел во двор. На этот раз он взял с собой телефон и включил диктофон. Он не знал, зачем ему запись, но чувствовал, что это важно. Прасковья Ильинична сидела на лавочке, как всегда, сложив руки на коленях. Рядом с ней сидела молодая женщина — кажется, из соседнего дома, Илья её не знал. Женщина плакала, вытирала глаза платком и что-то говорила. Бабушка слушала, кивала, гладила её по руке. Потом достала конфету. Женщина взяла, высморкалась, сказала «спасибо» и ушла. Илья смотрел ей вслед. Она шла быстро, почти бежала, и в её походке было что-то странное — как будто она торопилась уйти не от бабушки, а от самой себя.

Илья подошёл ближе. Прасковья Ильинична подняла на него глаза и улыбнулась.

— А, Илюшенька. Пришёл-таки. Я знала.

— Я не за конфетой, — сказал он.

— А я и не предлагаю, — ответила она. — Ты пока не готов. Ты пока только смотришь. Ну, смотри. Мне не жалко.

Илья сел на другой конец лавочки. Между ними было расстояние в два человека, но ему казалось, что он сидит рядом с открытой печью.

— Кто вы такая? — спросил он. — Вы сказали, что вы место. Но что это значит?

Бабушка помолчала. Ветер шевельнул её платок, и на секунду Илье показалось, что под платком не волосы, а что-то другое — тёмное, шевелящееся.

— Это долго рассказывать, — сказала она. — Но я расскажу, потому что ты мне нравишься. Только ты слушай и не перебивай. Договорились?

Илья кивнул.

— Когда-то давно, — начала Прасковья Ильинична, — здесь не было домов. Был пустырь. И на этом пустыре стояла банька. Маленькая, чёрная, с покосившейся крышей. В ней мылись, а потом гадали. Кто придёт, кого встретит, что будет. И был у этой баньки хозяин — не человек, а дух. Банник. Он жил в камнях, в самой печи, и следил за порядком. Люди к нему приходили с бедами, с вопросами, с просьбами. И он помогал. Не всем, но помогал. А потом пустырь убрали, баньку снесли, дома построили. И хозяин остался без дома. Он бы умер, если бы люди перестали к нему ходить. Но люди не перестали. Они приходили на пустырь, потом во двор, потом к лавочке. И он стал лавочкой. То есть мной. Я теперь не в баньке живу, а здесь. И я не банник, а бабушка. Так проще. Люди не боятся бабушек. Люди боятся банников.

Илья слушал, затаив дыхание.

— А конфеты? — спросил он.

— А конфеты — это то, чем я беру плату, — сказала она. — Раньше я брала монетками, хлебом, молоком. Но теперь у людей нет монеток. У них есть беды. Я беру беды. Это моя еда. Я же говорила: мне пенсию не платят.

— И вы... едите людей?

Прасковья Ильинична засмеялась. Смех у неё был сухой,

как шелест бумаги.

— Нет, Илюшенька. Я не ем людей. Я ем их судьбы. Это разное. Человек остаётся жив. Он просто... становится легче. Как чемодан без ручки. Ему хорошо, а мне сытно. Только чемодан-то без ручки нести неудобно. Вот и получается, что кто-то из близких исчезает. Потому что судьба человека — она не в нём одном. Она в его жене, в его детях, в его собаке, в его друзьях. Я забираю ниточку, а за ней тянется весь клубок. Ты не думай, я не злая. Я просто голодная. И потом, они сами соглашаются. Я же не заставляю.

— А если я не соглашусь?

— Тогда я останусь голодной, — просто сказала она. — А голодный дух — он слабеет. И место слабеет. И двор начинает рассыпаться. Ты замечал, что у вас тут всё время что-то ломается? Фонарь мигает, крыша течёт, ступеньки крошатся? Это потому что я голодная. Меня надо кормить. Иначе я исчезну. А если я исчезну, двор умрёт. Люди разъедутся, дома снесут. И останется пустырь. И я вернусь туда, откуда пришла. Только уже навсегда.

Илья почувствовал, как у него пересохло во рту.

— Значит, вы держите весь двор?

— Я держу место, — поправила бабушка. — А люди держатся за меня. Сами не знают, но держатся. Вон, Вера Петровна. Она теперь свободна и счастлива. И живёт. А если бы я не взяла её беду, она бы уже спилась или с ума сошла. Я её спасла. По-своему.

— А её муж? Он куда делся?

Прасковья Ильинична вздохнула.

— А муж её — он был частью её беды. Я его взяла. Он теперь во мне. Как и Бим, как и девочка Оксаны. Они не умерли, Илюшенька. Они просто во мне. Им там хорошо. Тепло. Никто их не обижает. Они как в баньке. Только банька — это я.

Илья встал. Ноги у него дрожали.

— Вы чудовище, — сказал он.

— Я не чудовище, — спокойно ответила она. — Я просто старая. И я хочу жить. Разве это грех?

Он ушёл, не попрощавшись. Дома он долго сидел в темноте, не включая свет. Мать уже спала. В окно светил фонарь, и на стене дрожал жёлтый прямоугольник. Илья смотрел на него и думал о том, что сказала бабушка. «Я не чудовище». Может, и не чудовище. Может, она просто голодная. Но от этого было не легче.

На следующий день он пошёл в библиотеку. Он не был там лет десять, с института, но библиотекарша, женщина в очках и с пучком на голове, встретила его приветливо. Илья попросил книги по фольклору. Про банников, домовых, дворовых, про духов места. Библиотекарша удивилась, но принесла несколько томов. Илья сел за стол у окна и начал читать.

Он читал про то, что банник живёт в бане, за печкой, и что его надо задабривать. Что он может запарить до смерти,

если рассердится. Что он любит чёрных петухов и хлеб. Что его можно увидеть, если сесть на пороге бани и ждать. Что он стар, как сама земля, и что он не умирает, пока есть место, где его помнят. Илья читал и чувствовал, как всё внутри него сжимается в тугой комок. Всё сходилось. Бабушка не врала. Она действительно была банником. Только теперь она была не в баньке, а на лавочке. И вместо петухов ела человеческие судьбы.

В одной из книг он нашёл старую запись, сделанную, судя по шрифту, ещё в девятнадцатом веке. Там говорилось: «Банник не может взять силой. Только обменом. Кто добровольно отдаст ему свою беду, тот потеряет часть себя. Но кто откажет ему трижды и при этом не забудет своего имени, тот сможет изгнать его из места, если сожжёт его лавку и насыпет пепел по ветру».

Илья перечитал эту строчку несколько раз. Потом достал блокнот и переписал её от руки. Трижды отказать. Не забыть своего имени. Сжечь лавку. Рассыпать пепел по ветру.

Он не знал, хватит ли у него смелости. Но он знал, что должен попробовать. Потому что иначе бабушка не остановится. Она будет кормиться, пока не съест весь двор. А потом перейдёт на соседний. А потом на весь город. И никто её не остановит, потому что никто не знает, что она такое. Никто, кроме него.

Вечером он вышел во двор с твёрдым намерением. Он подойдёт к ней и скажет: «Я отказываюсь». Один раз. Второй

раз. Третий раз. А потом... Потом он что-нибудь придумает. Может быть, подожжёт лавочку. Может быть, найдёт другой способ. Главное — начать.

Но когда он вышел, лавочка была пуста. На ней лежала только конфета. Одна, в золотистом фантике. И рядом с ней — маленькая записка, написанная от руки, корявым почерком: «Илюшенька, не надо. Я тебя пожалею. А ты пожалей мать. Завтра в семь. Я буду ждать».

Илья взял записку. Бумага была холодная, как будто её держали в морозилке. Он смял её в кулаке и пошёл домой.

Дома мать сидела на кухне и держалась за сердце. Лицо у неё было серое, губы синие.

— Илюша, — прошептала она. — Вызови скорую. Что-то мне плохо.

Илья схватил телефон. Руки у него тряслись. Он набрал номер, назвал адрес, потом сел рядом с матерью и взял её за руку. Рука была холодная.

— Потерпи, мам. Сейчас приедут.

Мать посмотрела на него и вдруг улыбнулась.

— Ты не ходи к ней, — сказала она тихо. — К бабке этой. Я знаю, ты ходишь. Не ходи. Она тебя съест.

— Мам, не говори ерунды. Лежи.

— Она мне уже говорила, — прошептала мать. — Что если ты не возьмёшь конфету, она возьмёт меня. Я думала, шутит. А теперь вот... — она задохнулась, — сердце.

Илья застыл. В голове у него всё смешалось. Скорая ехала.

Мать лежала. А за окном, в свете фонаря, на лавочке сидела бабушка. И смотрела вверх, на их окно. И улыбалась.

Илья понял: это не совпадение. Это предупреждение. Первое. И если он не возьмёт конфету, будет второе. А потом третье. И тогда мать умрёт. Не исчезнет, как муж Веры Петровны, а умрёт по-настоящему. Потому что бабушка не может забрать её беду без согласия. Но она может сделать так, что беда станет смертельной.

Скорая приехала через двадцать минут. Врач, молодой парень с усталыми глазами, осмотрел мать, сделал укол, сказал, что давление высокое, но не критическое. Посоветовал не волноваться. Илья проводил его до двери и вернулся в комнату. Мать уже спала. Дыхание было ровное. Лицо порозовело.

Илья сел на пол у её кровати и просидел так до утра. Он не спал. Он думал.

Утром, когда мать проснулась и сказала, что ей лучше, Илья вышел во двор. Было семь часов. Прасковья Ильинична сидела на лавочке. Она не удивилась. Она ждала.

— Ну что, Илюшенька, — сказала она. — Поговорим?

Глава 2. Мясник

Илья сел на другой конец лавочки. Дерево было холодное, сырое от утренней росы, и холод этот сразу пробрал его до костей, хотя куртка была тёплая. Прасковья Ильинична сидела неподвижно, сложив руки на коленях, и смотрела не на него, а прямо перед собой, на детскую площадку с покосившейся горкой. Утро было серое, туманное, и двор казался вымершим: ни детей, ни собак, ни дворника с метлой. Только где-то за первым подъездом глухо тарахтел старый мотор, да ворона каркнула на клёне, тяжело перелетая с ветки на ветку.

— Я слушаю, — сказал Илья. — Говорите.

Бабушка повернула к нему голову. Лицо у неё было спокойное, почти добродушное, но глаза — те самые светлые, watery глаза — смотрели цепко, как два крючка.

— Ты вчера в библиотеке был, — сказала она. — Книжки читал. Про меня. Про банников да дворовых. Умный мальчик. Я думала, ты просто испугаешься и уедешь. А ты вон что удумал. Лавку сжечь? Пепел по ветру?

Илья не стал спрашивать, откуда она знает. Он уже понял, что она знает всё.

— А если и так? — сказал он. — Вы же сами говорите, что держите место. Значит, вас можно убрать. Освободить двор.

Бабушка усмехнулась. Усмешка у неё была не злая, а ка-

кая-то усталая, как у старой учительницы, которая в сотый раз объясняет одно и то же нерадивому ученику.

— Можно, — согласилась она. — Всё можно, Илюшенька. Только ты не подумал: а что потом? Я уйду — место умрёт. Двор рассыплется. Люди разбегутся. Дома снесут. И знаешь, что здесь будет? Пустырь. Тот самый, на котором когда-то банька стояла. И я вернусь туда. Только уже не как бабушка, а как хозяин пустыря. И тогда я буду брать не по конфетке. Тогда я буду брать всё. Потому что голодный дух на пустыре — это не бабушка на лавочке. Это голод. Настоящий. Ты видел когда-нибудь, как голод выглядит?

Илья промолчал.

— То-то и оно, — сказала она. — Я сейчас добрая. Я с людьми по-хорошему. Конфетку предложила, спасибо сказала. А ты хочешь меня на голод посадить. Ну, сожги лавку. Только меня-то ты не сожжёшь. Я не в лавке. Я в месте. В земле. В камне. В воздухе. Ты вон вчера в библиотеке читал, что банника можно изгнать, если трижды отказать и имя не забыть. Так это банника. А я теперь не банник. Я место. У меня и имя другое. Ты думаешь, меня Прасковьей Ильичиной зовут? Это я так, для людей. Чтобы не пугались.

— А как вас зовут? — спросил Илья.

Бабушка посмотрела на него долгим взглядом. Потом покачала головой.

— Не скажу. И ты не спрашивай. Не твоего ума дело. Ты лучше подумай, что с матерью будет. Ей вчера плохо стало.

А сегодня лучше. Как думаешь, почему?

Илья сжал кулаки. Он знал, что она скажет.

— Это вы её, — сказал он. — Вы её предупредили. Через сердце.

— Предупредила, — кивнула бабушка. — По-доброму. Я же не зверь. Я могла бы сразу взять. Но я даю тебе время. И тебе, и ей. Ты возьми конфетку, Илюшенька. И всё будет хорошо. Мать поправится. Работа наладится. Может, даже девушка появится. Я же вижу, ты одинокий. А я не жадная. Мне много не надо. Одна беда — одна конфетка. По-честному.

— А если я откажусь?

— Откажешься — я подожду, — спокойно сказала она. — Я терпеливая. Я тут давно сижу. Мне спешить некуда. Только мать твоя — она не железная. У неё сердце слабое. Давление. Ты же не хочешь, чтобы она в один прекрасный день не проснулась? А она может. Я не буду её трогать. Я просто перестану помогать. А без моей помощи она долго не протянет. Ты не думай, я ей уже год помогаю. Незаметно. То давление снижу, то головную боль уберу. А ты и не знал. Думал, само проходит.

Илья почувствовал, как у него внутри всё оборвалось. Он вспомнил, как мать жаловалась на сердце, а потом вдруг говорила, что всё прошло. Как она пила таблетки, а потом переставала. Как врачи разводили руками и говорили, что анализы хорошие. Он думал, что это ремиссия. А это была ба-

бушка. Она держала мать на коротком поводке, как собачонку.

— Вы... — начал он, но не нашёл слов.

— Я, — согласилась бабушка. — Я. Я всё делаю по-доброму. Ты пойми: я не враг. Я соседка. Просто соседка, которая хочет есть. Разве это плохо?

Илья встал. Ноги у него были ватные, но он стоял.

— Я отказываюсь, — сказал он. — Слышите? Я отказываюсь. Первый раз.

Бабушка кивнула, как будто ждала этих слов.

— Хорошо, — сказала она. — Первый раз. Запомнила. Иди. Только не думай, что это что-то меняет. Ты отказываешься, а мать твоя — нет. Она уже согласилась. Она мне ещё в прошлом году сказала: «Прасковья Ильинична, если со мной что, вы Илюше помогите». Вот я и помогаю. По-своему.

Илья развернулся и пошёл к подъезду. В спину ему летел её голос, тихий, почти ласковый:

— Второй раз, Илюшенька, будет труднее. А третий — самый трудный. Ты подумай. Время есть. Пока есть.

Дома мать уже встала. Она была бледная, но улыбалась и даже пыталась что-то готовить — на плите шипела сковорода, пахло жареным луком.

— Ты чего в такую рань? — спросила она. — Гулял?

— Гулял, — сказал Илья. — Мам, ты как?

— Да нормально, — отмахнулась она. — Врач сказал, всё

хорошо. Давление как у космонавта. Ты не переживай.

Илья сел за стол и стал смотреть, как она хлопочет у плиты. Он думал о том, что бабушка сказала: «Она мне ещё в прошлом году сказала». Мать действительно могла такое сказать. Она всегда боялась за него, всегда просила соседей присмотреть. Но одно дело — попросить соседку по-человечески, а другое — отдать себя в руки духу, который ест судьбы.

Он дождался, пока мать уйдёт на работу, и снова открыл блокнот. Теперь у него был план. Он записал его на чистой странице, аккуратно, печатными буквами:

Отказать трижды.

Не забыть своё имя. (Что это значит? Он ведь помнит, как его зовут. Может, это про другое? Может, нужно помнить, кто ты есть, не позволить бабушке стереть память, как у Веры Петровны?)

Сжечь лавку.

Рассыпать пепел по ветру.

Пункт второй вызывал у него больше всего вопросов. Он перечитал вчерашние записи. «Кто откажет ему трижды и при этом не забудет своего имени». Может быть, это значит, что бабушка попытается стереть ему память? Или заставить его забыть, кто он, как она сделала с Верой Петровной, которая забыла мужа? Или это про какое-то тайное имя, которое нужно знать? Илья не знал. Но он решил, что будет держаться за свою память зубами. Он записал на листке своё

имя, дату рождения, имена матери, отца (который ушёл, когда Илье было десять), свой адрес, работу, всё, что могло напомнить ему, кто он такой. Листок он спрятал в паспорт, а паспорт — во внутренний карман куртки. Он решил носить его с собой всегда.

Потом он пошёл к бабе Нюре. Баба Нюра жила в первом подъезде на первом этаже, и её окно выходило как раз на тот самый пустырь, который когда-то был двором, а ещё раньше — местом, где стояла банька. Баба Нюра была старше всех в доме. Ей было девяносто два года, она почти не выходила на улицу, и её знали все, потому что она была единственной, кто помнил, как строили этот дом.

Илья постучал. Дверь открыла женщина в халате, с седыми волосами, собранными в пучок, и в очках с толстыми стёклами. Она посмотрела на Илью сквозь стёкла, и он увидел, что глаза у неё ясные, как у молодой.

— Чего тебе? — спросила она. — Ты кто?

— Я Илья, из третьего подъезда. Воронов. Сын Нины.

Баба Нюра прищурилась.

— Нины? Это которая в регистратуре работает? Помню. Хорошая женщина. Заходи.

Квартира у бабы Нюры была маленькая, но чистая. Пахло валерьянкой и сушёными травами. На стенах висели старые фотографии в рамках, и Илья с удивлением увидел на одной из них тот самый двор, только без домов — пустырь и маленькую чёрную баньку на краю.

— Это вы фотографировали? — спросил он.

— Я, — сказала баба Нюра. — Молодая была. Тут всё по-другому было. Дома не стояли. Банька стояла. Старая, ещё купеческая. Купец Сидоров её построил. Говорили, что он в ней не только мылся. Дела у него тёмные были. Люди в эту баньку заходили, а выходили не все. А потом купца убили, баньку сожгли, а на её месте пустырь остался. Долго стоял пустырь. Говорили, что там нечисто. Мужики наши, которые посмелее, ходили туда гадать. И знаешь, что? Гадали-то они не просто так. Они к хозяину ходили. К баннику. Он там жил. После пожара остался. Люди его подкармливали — кто хлебом, кто молоком. А потом дома начали строить. Банника хотели вывести, да не вышло. Он в землю ушёл. А как дом построили, он обратно вышел. Только уже не в баньку, а в лавочку. Так и сидит.

Илья слушал, затаив дыхание.

— А имя? — спросил он. — У него есть имя? Настоящее?

Баба Нюра посмотрела на него внимательно. Потом сняла очки и протёрла их краем халата.

— Имя, — сказала она. — Имя у него есть. Только его не произносят. Потому что кто произнесёт — того он и заберёт. Первым делом. Это как пароль. Скажешь — и он твой. Навсегда.

— А вы знаете это имя?

Баба Нюра помолчала. Потом покачала головой.

— Знаю, — сказала она тихо. — Но не скажу. Не потому,

что жадная. А потому, что тебе не надо. Ты молодой. Тебе жить да жить. А если ты это имя произнесёшь, он тебя услышит. И тогда уже не отвяжется. Ты думаешь, почему я из дома не выхожу? Я его видела. Один раз. В молодости. Он мне тогда сказал: «Нюра, не выглядывай в окно после полуночи. А если выглянешь — не смотри на лавочку». Я не послушала. Выглянула. И он на меня посмотрел. С тех пор я его боюсь. А он меня не трогает. Потому что я старая. И потому что я помню. А он не любит, когда его помнят.

Илья наклонился вперёд.

— Баба Нюра, мне очень нужно это имя. Он... она... бабушка эта... она мать мою трогает. Она сказала, что если я не возьму конфету, мать умрёт.

Баба Нюра вздохнула. Вздох у неё был тяжёлый, как будто она несла на плечах весь этот дом.

— Вот что, Илюша, — сказала она. — Имя я тебе не скажу. Но подскажу, где искать. Ты в библиотеку ходил? В ту, что на Полевой?

— Ходил.

— Там есть старые книги. В подвале. Их списали, да не выбросили. Спроси у библиотечарши, Тамары Ивановны. Скажи, что от меня. У неё есть одна книжка, рукописная. Про купца Сидорова. Там всё написано. И про баньку, и про то, что в ней делали, и про имя. Только книжку эту читать нельзя без подготовки. Она... она как зараза. Кто прочитает — тот начинает видеть. И не только бабушку. Всё видеть. Ты

готов?

Илья кивнул.

— Готов.

Баба Нюра посмотрела на него и вдруг улыбнулась.

— Смелый ты. В отца. Тот тоже смелый был. Ушёл вот только. Ну, дело молодое. Ты иди. И помни: имя — это ключ. Но ключ можно и в замке повернуть, и в глаз вставить. Держи его при себе. И не произноси, пока не будешь готов.

Илья поблагодарил её и ушёл. По дороге в библиотеку он думал о том, что сказала баба Нюра. «Кто прочитает — тот начинает видеть». Он и так уже видел. Он видел, как люди берут конфеты и меняются. Он видел, как исчезают собаки, мужья, дети. Он видел, как бабушка сидит на лавочке и улыбается. Что ещё можно увидеть?

В библиотеке Тамара Ивановна, женщина с усталыми глазами и вечным пучком на голове, сначала не хотела его пускать в подвал. Но когда он сказал, что от бабы Нюры, она вздохнула и достала ключ.

— Только недолго, — сказала она. — И книжку эту не читай при мне. Я её боюсь.

Подвал был сырой, тёмный, с низкими сводами и запахом плесени. На полках стояли старые книги, журналы, подшивки газет. Тамара Ивановна провела его в дальний угол, где стоял сундук, обитый железом. В сундуке лежала одна-единственная книга — толстая, в кожаном переплёте, с пожелтевшими страницами. На обложке не было названия. Только

выжженный знак — круг с крестом внутри.

— Вот, — сказала библиотекарьша. — Читай. Только помни: ты сам этого хотел.

Она ушла, оставив его одного. Илья сел на старый стул, положил книгу на колени и открыл первую страницу. Почерк был старый, дореволюционный, с ятями и ерами. Но читался легко.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сия книга писана рукою дьячка Пантелеймона в лето 1903-е от Рождества Христова, во граде нашем, что стоит на Полевой улице, где ныне пустырь, а прежде была баня купца Сидорова. Купец тот, Сидоров, был человек злой и жадный. В бане его не только мылись, но и людей убивали. Деньги за то брал. А тела в печь совал. Много душ загубил. А когда его самого убили, души те не упокоились. Остались в бане. И стал из них один — самый злой и голодный. Имя ему дали — Мясник. Потому что он из плоти и крови человеческой, из мяса, что в печи горело. И он не банник, как думают некоторые. Он — дух убиенных. И питается он не бедами, а судьбами. Потому что душа, которую он забрал, — она к нему в мясо идёт. Он её ест. И растёт. А имя его истинное — Мясник. Кто имя это произнесёт, тот его на себя наденет. И станет он Мясником. А старый Мясник уйдёт. Так они и меняются. Один ест, другой сторожит. И так до скончания века».

Илья дочитал до конца страницы и закрыл книгу. Руки у него тряслись. Он понял теперь, что значило «не забыть

своего имени». Это значило не дать Мяснику надеть на себя это имя. Не стать новым Мясником. Бабушка не просто ела судьбы. Она искала замену. Кого-то, кто согласится занять её место. И, судя по всему, она выбрала его, Илью.

Он вышел из подвала, вернул ключ Тамаре Ивановне и пошёл домой. По дороге он думал о том, что узнал. Мясник. Имя, которое нельзя произносить. Но чтобы изгнать, его нужно назвать. Или сжечь лавку. Но бабушка сказала, что лавку сжечь нельзя. Может, она врала. Может, можно. Он решил попробовать. Но сначала — второй отказ.

Вечером он снова вышел во двор. Бабушка сидела на лавочке, как всегда. Рядом с ней стоял мужчина — Артём, новый жилец из второго подъезда. У него была беда: бывшая жена не давала видеться с сыном. Он жаловался бабушке, размахивал руками, курил одну за другой. Илья подошёл ближе и услышал, как бабушка говорит:

— А ты возьми конфетку, Артёмка. И всё наладится. Сын твой вернётся. Жена твоя полюбится. Ты только беду мне отдай.

Артём взял конфету. Илья хотел крикнуть, остановить его, но не успел. Артём уже развернул фантик и отправил конфету в рот. Прожевал, улыбнулся.

— Спасибо, бабуля. Вы волшебница.

— Волшебница, — согласилась бабушка. — Иди с богом.

Артём ушёл. Илья проводил его взглядом, потом повернулся к бабушке.

— Зачем вы это делаете? — спросил он. — Вы же знаете, что я не возьму. Зачем вы продолжаете?

— А я не для тебя, — сказала она. — Я для себя. Мне есть надо. Ты не берёшь — другие берут. Вон, Артёмка взял. Завтра его сын из другого города перестанет звонить. А Артёмка будет счастлив. Потому что беда его ушла. А ко мне сын его придёт. Мальчишка лет семи. Хороший мальчишка. Я его давно заметила.

Илья содрогнулся.

— Вы чудовище.

— Я Мясник, — сказала она спокойно. — Я тебе ещё вчера говорила. Только ты не слушал. А теперь слушай: я не чудовище. Я то, что люди сделали. Купец Сидоров убивал, а я родился. Люди берут конфеты, а я ем. Всё по-честному. А ты хочешь меня убить. Ну, попробуй. Только сначала подумай: а кто тогда будет двор держать? Кто будет матери твоей давление снижать? Кто будет за детьми смотреть, чтобы они под машины не попадали? Я же не только ем. Я и помогаю. Ты этого не видишь, потому что не хочешь видеть. А ты посмотри.

Илья посмотрел. И действительно увидел. У первого подъезда женщина выгуливала собаку, и собака не тянула поводок, шла спокойно. У детской площадки мальчик лет пяти катался с горки, и мать не кричала на него, а улыбалась. У третьего подъезда старик сидел на скамейке и читал газету, и лицо у него было спокойное. Двор жил. Двор дышал. И в

этом дыхании была она — бабушка. Мясник. Дух места. Он держал этот двор в своих руках, и люди этого не знали. Они думали, что живут своей жизнью. А на самом деле они жили её жизнью. И платили ей судьбами.

Илья понял, что не сможет просто сжечь лавку. Это было бы убийство. Не бабушки, а двора. Всех этих людей. Они не выживут без неё. Или выживут, но по-другому. Хуже. Он не знал. И это было самое страшное.

Он вернулся домой и сел за стол. В блокноте он написал: «Второй отказ. Я отказываюсь. Но я не знаю, что делать дальше. Если я её убью, двор умрёт. Если не убью, она будет есть людей. Что выбрать?»

Ответа не было. Он сидел до глубокой ночи, смотрел в окно, на лавочку, на бабушку, которая сидела там одна, в темноте, и, казалось, смотрела прямо на него. А потом он увидел, как она подняла руку и помахала ему. Медленно, как машут старому знакомому.

Илья задёрнул штору. Но он знал, что она всё равно его видит.

Утром он снова пошёл к бабе Нюре. На этот раз он принёс с собой книгу — ту самую, из подвала. Он не сказал Тамаре Ивановне, что берёт её. Просто сунул в рюкзак и ушёл. Он знал, что поступает плохо, но другого выхода не было.

Баба Нюра открыла дверь и, увидев книгу, побледнела. — Ты что наделал? — прошептала она. — Ты её взял? Она же не для того, чтобы её читали. Она для того, чтобы

её боялись!

— Я прочитал, — сказал Илья. — Я знаю имя. Мясник. Баба Нюра зажала ему рот рукой.

— Тише! — зашипела она. — Не произноси! Ты что, хочешь, чтобы он тебя услышал?

— Он и так меня слышит, — сказал Илья. — Он меня видит. Он меня выбрал. Баба Нюра, вы знаете, что он хочет сделать? Он хочет, чтобы я стал новым Мясником. Он хочет уйти. А я останусь вместо него.

Баба Нюра села на табуретку. Руки у неё тряслись.

— Так вот почему он тебя не трогает, — сказала она. — Он тебя готовит. Он тебя прикармливает. Чтобы ты согласился. А ты не соглашайся, Илюша. Не соглашайся ни за что. Потому что если ты станешь Мясником, ты уже не будешь Ильёй. Ты будешь им. И тогда ты будешь есть людей. И тебе будет всё равно. Ты понимаешь?

Илья понимал. Он сел рядом с бабой Нюрой и открыл книгу на той странице, где было написано про обряд изгнания.

— Здесь сказано: «Кто откажет трижды и не забудет своего имени, тот может изгнать Мясника, если сожжёт его лавку и рассыплет пепел по ветру». Но я не могу сжечь лавку. Если я это сделаю, двор умрёт.

Баба Нюра покачала головой.

— Нет, Илюша. Ты не так понял. Лавка — это не скамейка. Лавка — это место, где он сидит. Это его престол. Если

ты сожжёшь скамейку, он уйдёт в землю. Но не умрёт. Он просто затаится. А двор... двор останется. Люди останутся. Просто без него. Они будут жить сами. Как раньше. Ты понимаешь?

Илья задумался.

— А если он затаится, он вернётся?

— Вернётся, — сказала баба Нюра. — Обязательно вернётся. Через год, через два. Может, через десять. Он найдёт новое место. Новую лавочку. Нового человека, который его накормит. Так всегда было. Но ты можешь выиграть время. И для себя, и для матери. И для всех нас. А потом... потом кто-нибудь другой найдётся. Может, ты сам.

Илья понял, что это не победа. Это отсрочка. Но отсрочка была лучше, чем ничего. Он кивнул.

— Хорошо. Я сожгу лавку. Но сначала я должен отказать во второй раз. И в третий. А потом — сжечь.

— Второй раз ты уже отказал, — сказала баба Нюра. — Утром. Я видела, как ты с ней разговаривал. Ты сказал «я отказываюсь». Она это слышала. Значит, второй раз есть. Остался третий.

Илья вспомнил. Да, он действительно сказал это утром. Второй отказ был. Значит, остался третий. И третий будет самый трудный. Бабушка сказала, что третий — самый трудный. Почему? Что она сделает?

Он не знал. Но он должен был попробовать.

Вечером он вышел во двор с канистрой бензина и кораб-

ком спичек. Он спрятал их в кустах у первого подъезда. Бабушка сидела на лавочке. Она была одна. Увидев его, она улыбнулась.

— Пришёл, — сказала она. — Я знала. Ты готов?

— Я отказываюсь, — сказал Илья. — Третий раз. Слышите? Я отказываюсь.

Бабушка посмотрела на него. Улыбка исчезла с её лица. Глаза стали тёмными, как два колодца.

— Третий раз, — повторила она. — Ты уверен?

— Уверен.

Она встала. Медленно, тяжело. И вдруг Илья увидел, что она не такая уж и маленькая. Она выросла. Нет, не выросла — она просто перестала притворяться. Её пальто распахнулось, и под ним было что-то другое. Не тело. Что-то тёмное, шевелящееся, как клубок змей. И запах — запах гари, старой бани, горелого мяса. Илья отшатнулся.

— Ты отказываешься, — сказала она, и голос у неё был уже не бабушкин. Низкий, скрипучий, как несмазанная дверь. — А мать твоя? Она тоже отказывается? Смотри.

Она махнула рукой, и в окне их квартиры загорелся свет. Илья увидел мать. Она стояла посреди кухни и держалась за сердце. Лицо у неё было синее. Она открывала рот, как рыба, выброшенная на берег, и не могла вдохнуть.

— Мама! — крикнул Илья и бросился к подъезду.

— Стой! — рывкнула бабушка. — Один шаг — и она умрёт. Ты слышишь? Я не шучу. Ты отказался трижды. Те-

перь моя очередь. Ты думал, что можешь просто отказаться и уйти? Нет, Илюшенька. Так это не работает. Ты отказываешься — я забираю. Но не тебя. Тебя я не могу. Ты чистый. Ты не брал. А мать твоя — она брала. Она мне уже год платит. Так что выбирай: или ты берёшь конфету и становишься моим, или я забираю мать. Сейчас. Навсегда.

Илья застыл. Он смотрел на окно, где мать задыхалась, и не мог двинуться с места. Он знал, что бабушка не блефует. Он знал, что она может. И он знал, что у него нет выбора. Он должен взять конфету. Или мать умрёт.

Но баба Нюра сказала: «Не соглашайся ни за что». А бабушка сказала: «Третий раз самый трудный». И вот он, третий раз. И он не может отказаться. Потому что на кону жизнь матери.

Илья опустился на колени. Прямо там, на холодном асфальте, под фонарём, у лавочки. И сказал:

— Я согласен. Дайте конфету.

Бабушка улыбнулась. И в этой улыбке было столько торжества, что Илье стало страшно. Она достала из кармана конфету. Протянула ему. Он взял. Фантик был холодный, как лёд. Илья развернул его. Внутри была карамель, тёмная, почти чёрная. Пахла мятой и полынью.

— Ешь, — сказала бабушка. — И всё будет хорошо.

Илья поднёс конфету ко рту. И в этот момент в окне первого подъезда загорелся свет. Баба Нюра стояла у окна и смотрела на него. Она что-то кричала, но он не слышал что.

Он только видел, как она машет руками и показывает на что-то за его спиной.

Илья обернулся. И увидел, что на лавочке, рядом с бабушкой, сидит ещё кто-то. Маленький, сгорбленный, в тёмном. Он был почти невидим, как тень. Но Илья его видел. Это был мальчик. Лет семи. Светловолосый, в куртке с капюшоном. Он сидел и смотрел на Илью. И улыбался.

Это был сын Артёма. Тот самый мальчишка, которого бабушка забрала сегодня утром. Он был здесь. Внутри неё. И он смотрел на Илью, как смотрят на нового друга.

Илья понял: если он съест конфету, он станет таким же. Он будет сидеть на этой лавочке. И внутри него будут дети. И он будет их есть. И ему будет всё равно.

Он опустил руку. Конфета осталась лежать на ладони.

— Нет, — сказал он. — Я не буду.

Бабушка перестала улыбаться.

— Ты слышал, что я сказала? Мать умрёт.

— Нет, — повторил Илья. — Не умрёт. Потому что я знаю твоё имя.

Бабушка замерла.

— Ты не посмеешь.

— Мясник, — сказал Илья.

Слово упало в тишину, как камень в воду. Бабушка закричала. Не по-человечески — высоко, визгливо, как рвётся железо. Она схватилась за голову, и её лицо поплыло, как воск. Пальто распахнулось, и из него хлынуло что-то тёмное,

дымное, с запахом гари. Илья отшатнулся. Конфета выпала из его руки и покатилась по асфальту.

А в окне третьего подъезда мать Ильи сделала вдох. Глубокий, судорожный, но вдох. И осела на пол, живая.

Бабушка — или то, что от неё осталось, — корчилась на лавочке. Она уменьшалась, сжималась, как горящая бумага. Илья смотрел на это и не мог двинуться с места. А потом он вспомнил про бензин. Про спички. Про то, что нужно сжечь лавку.

Он бросился к кустам, выхватил канистру, плеснул бензином на лавочку. Бабушка закричала ещё громче, но он не слушал. Он чиркнул спичкой. Огонь вспыхнул сразу, ярко, жадно, как будто ждал этого много лет.

Лавочка горела. Бабушка горела. Двор был пуст. Только окна светились, и в них стояли люди — Вера Петровна, Артём, Колька, баба Нюра. Они смотрели на огонь и молчали.

Илья стоял и смотрел, как горит его прошлое. Как горит то, что держало этот двор. Как горит Мясник.

А потом огонь погас. На асфальте осталась горка пепла. Илья наклонился, зачерпнул пепел рукой и развеял по ветру. Пепел полетел, закружился, исчез.

Двор был пуст. Лавочки не было. Бабушки не было. Только фонарь горел, как всегда, ровно и ярко.

Илья пошёл домой. Мать сидела на полу на кухне и плакала. Он обнял её и не отпускал до утра.

А утром во дворе появилась новая лавочка. Кто-то поста-

вил её ночью. И на ней, в тени клёна, сидела старуха в сером платке. Она улыбнулась Илье и помахала рукой.

Илья не удивился. Он знал, что так будет. Мясник не умирает. Он просто ждёт. И теперь он ждал снова.

Но Илья был готов. Он знал имя. И он знал, что делать.

Он подошёл к лавочке и сел рядом.

— Здравствуй, бабушка, — сказал он. — Давай поговорим.

Глава 3. Новая лавочка

Илья сидел рядом с бабушкой и чувствовал, как холод от дерева проникает сквозь куртку, сквозь кожу, прямо в кости. Лавочка была новая, свежепокрашенная, но краска уже успела покрыться утренней изморосью, и под пальцами она казалась скользкой, как рыба чешуя. Бабушка сидела на своём обычном месте, сложив руки на коленях, и молчала. Она не улыбалась. Не смотрела на него. Просто сидела и смотрела прямо перед собой, на детскую площадку, где ветер гонял по асфальту смятый фантик от конфеты.

— Я думал, вы исчезнете, — сказал Илья. — После того, как я произнёс имя. После того, как я всё сжёг.

Бабушка медленно повернула к нему голову. Лицо у неё было другое. Не то чтобы совсем чужое — те же морщины, те же светлые глаза, тот же серый платок. Но что-то в нём изменилось. Как будто изнутри подтянули ниточку, и все черты сдвинулись на полмиллиметра. Улыбка ушла. Взгляд стал тяжелее, глубже. И ещё — она выглядела старше. Намного старше, чем вчера. Как будто за одну ночь она постарела на десять лет.

— Я и не исчезла, — сказала она. Голос был тихий, хриплый, без той елейной мягкости, которая была раньше. — Ты думал, что сжёг меня? Ты сжёг лавку. Деревяшку. А я не в деревяшке. Я в земле. Под асфальтом. Под фундаментом. В

корнях клёна. В воде, которая в трубах. Ты развеял пепел по ветру, а ветер — он сюда же и вернулся. Всё, что ты сделал, — это дал мне новую кожу. Новую лавочку. Новую... — она запнулась, — новую форму. Я теперь другая. Слабее. И злее.

Илья смотрел на неё и не знал, что сказать. Он ожидал чего угодно — крика, угроз, исчезновения. Но не этого тихого, усталого признания в слабости.

— Вы голодны, — сказал он наконец. — Поэтому вы здесь. Вам нужно есть.

Бабушка усмехнулась. Усмешка вышла кривой, как трещина на стекле.

— Голодна, — согласилась она. — Очень. Ты даже не представляешь, как. Я вчера ночью чуть не умерла. По-настоящему. Ты произнёс моё имя, и я рассыпалась. Но земля меня не отпустила. Место меня не отпустило. Я ему нужна. Как нужен дворнику его фонарь, как нужна собаке её будка. Без меня здесь всё развалится. Ты этого не понимаешь, но это так. Я — не паразит. Я — орган. Как сердце. Убери сердце — и тело умрёт. Ты хотел убить меня, а убил бы всех.

Илья вспомнил, как мать задыхалась в окне. Как баба Нюра махала руками. Как Артём взял конфету и улыбнулся. Как мальчик в куртке с капюшоном сидел рядом с бабушкой и смотрел на него, как на нового друга.

— А мальчик? — спросил он. — Сын Артёма. Он был здесь. Вчера. Я его видел.

Бабушка кивнула.

— Был. И сейчас здесь. Он во мне. Как и все остальные. Бим. Муж Веры Петровны. Девочка Оксаны. Они все во мне. Я их не отпускаю. Не потому, что жадная. Потому что если я их отпускаю, они умрут. Окончательно. Они уже не люди. Они — часть меня. Как рука или нога. Ты можешь отрубить мне руку? Можешь. Но она не оживёт. Она просто сгниёт.

Илья поёжился. Он представил себе мальчика в капюшоне, сидящего внутри этой старой женщины, внутри её пальто, внутри её тела, как в тёмной комнате без окон. И мальчик улыбался. Потому что ему там было хорошо. Тепло. Никто его не обижал. Так говорила бабушка. Илья не знал, верить ей или нет.

— Зачем вы мне это рассказываете? — спросил он. — Вы хотите, чтобы я вас пожалел? Чтобы я взял конфету?

— Нет, — сказала бабушка. — Конфету ты не возьмёшь. Я знаю. Ты чистый. Ты отказался трижды. Ты произнёс имя. Ты сжёг лавку. Таких, как ты, не едят. Таких, как ты, боятся. Я тебя боюсь, Илюша. Впервые за сто лет я кого-то боюсь. И знаешь, что это значит?

— Что?

— Что ты теперь — новый хозяин места. Не я. Ты. Ты его освободил. Ты его очистил. Огонь — он ведь не только сжигает. Он и лечит. Ты сжёг мою старую кожу, и место выбрало тебя. Теперь ты держишь двор. Не я. Ты.

Илья засмеялся. Нервно, коротко.

— Я? Я автослесарь. Я в этом дворе живу с рождения, но

я ничего не держу. Я даже лавочку эту не ставил.

— А кто поставил? — спросила бабушка. — Ты думаешь, я? Я не могу. Я дух. Я не плотник. Лавочку поставил кто-то другой. Кто-то, кто хочет, чтобы я осталась. Или кто-то, кто хочет, чтобы ты занял моё место. Подумай, Илюша. Кто в этом дворе знает про меня больше всех? Кто тебе рассказал про книгу? Кто тебе сказал, что нужно сжечь лавку?

Илья замер. В голове у него щёлкнуло, как реле в старой машине.

— Баба Нюра.

Бабушка кивнула.

— Баба Нюра. Старая. Хитрая. Она меня видела. Один раз. В молодости. И с тех пор боится. А страх — он ведь разный бывает. Один от страха бежит. А другой от страха убивает. Баба Нюра всю жизнь меня боялась. А потом состарилась. И поняла, что умирает. И захотела на моё место. Она тебе книжку дала. Она тебе про имя рассказала. Она тебя надоумила лавку сжечь. А лавочку новую кто поставил, а? Ты не думал?

Илья вскочил.

— Вы врёте. Баба Нюра не такая. Она добрая. Она мне помогала.

— Она тебе помогала, — согласилась бабушка. — Помогала стать хозяином. А себя — на моё место. Ты думаешь, почему она из дома не выходит? Она ждёт. Ждёт, когда ты сядешь на эту лавочку. Когда ты станешь Мясником. А она

станет тобой. Или мной. Или кем-нибудь ещё. Она старая. Она умирает. Ей нужно новое тело. А тело — оно ведь не обязательно должно быть молодым. Главное, чтобы оно было живым. И чтобы в нём было место для духа.

Илья не стал слушать дальше. Он развернулся и побежал к первому подъезду. Он взлетел на крыльцо, забарабанил в дверь бабы Нюры. Никто не открыл. Он стучал минуту, две, три. Потом толкнул дверь. Она была не заперта.

Квартира бабы Нюры была пуста. Не то чтобы совсем — мебель стояла на месте, фотографии висели на стенах, вальс-рянка пахла так же. Но самой бабы Нюры не было. На столе лежала записка, написанная корявым почерком. Илья взял её. Бумага была холодная, как будто её держали в морозилке.

«Илюша, не ищи меня. Я ушла. Туда, куда должна была. Ты всё сделал правильно. Лавку сжёг. Имя произнёс. Теперь твоя очередь. Не бойся. Она тебя не тронет. Ты сильнее. Только помни: не садись на лавочку. Никогда. Если сядешь — станешь им. А если не сядешь — двор умрёт. Я знаю, это трудный выбор. Но ты справишься. Ты же Воронов. А Вороновы — они упрямые. Прощай. Баба Нюра».

Илья перечитал записку три раза. Потом смял её в кулаке. Он не знал, верить ли бабушке или бабе Нюре. Обе ввали. Обе что-то скрывали. Обе хотели от него чего-то. И обе исчезли — одна в землю, другая в неизвестность.

Он вернулся во двор. Бабушка сидела на лавочке, как будто никуда не уходила. Она смотрела на него и молчала. Илья

сел на бордюр напротив, не на лавочку. Он не хотел садиться на лавочку. Никогда.

— Она ушла, — сказал он. — Баба Нюра. Оставила записку. Сказала, чтобы я не садился на лавочку.

— Умная, — сказала бабушка. — Старая, хитрая. Она знает, что если ты сядешь — ты станешь мной. А если не сядешь — я умру. И она вместе со мной. Она не хочет умирать. Она хочет жить. Вот и ушла. Искать другое место. Другой двор. Другую лавочку. Она найдёт. Она всегда находит. Такие, как она, не пропадают.

Илья посмотрел на бабушку. Потом на лавочку. Потом на окна дома, где жили люди. Вера Петровна выглядывала из-за занавески. Артём курил на балконе. Колька сидел на качелях, один, без собаки, без мяча. Они все ждали. Они все чего-то хотели. И они все были частью этого места. Частью бабушки. Частью Мясника.

— Что будет, если я не сяду? — спросил Илья.

— Двор умрёт, — сказала бабушка. — Не сразу. Постепенно. Сначала фонарь погаснет. Потом крыша потечёт. Потом люди начнут уезжать. Сначала по одному. Потом семьями. Потом дома начнут пустеть. А потом их снесут. И останется пустырь. И я вернусь в землю. И усну. Надолго. Может, навсегда.

— А если сяду?

— Если сядешь — станешь Мясником. Будешь сидеть здесь. Будешь есть судьбы. Будешь держать двор. Будешь по-

могать людям. И есть их. Как я. Как все, кто был до меня. Это не так плохо, Илюша. Ты будешь нужен. Тебя будут любить. Тебя будут бояться. Ты будешь важен. Разве это не то, чего ты хочешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.